

Книга одного из самых ярких современных российских литературоведов, профессора Ивана Есаулова «О любви. Радикальные интерпретации» – первое за 100 лет на территории России новое исследование по филологии, изданное полностью в дореволюционной орфографии. Автор подвергает спокойной, аргументированной, но и разрушительной критике прежние подходы к классическим и новым произведениям, от «Бедной Лизы» Карамзина до поэзии Осипа Мандельштама. Профессор Есаулов указывает на те аспекты, которые доселе ускользали от внимания как советских и постсоветских исследователей, так и современных западных русистов. В их числе, и аспект методологический: «сначала нужно полюбить, а ужь потом можно надъяться и на подлинное понимание (или, во всякомъ случаѣ, на конгеніальную интерпретацию)». В качестве эпиграфа автор приводит слова Шевырева: «...безъ любви и знать ничего невозможно».

Иван Есаулов – доктор филологических наук, профессор. Лауреат Бунинской премии по литературе, награжден Золотой Пушкинской медалью за вклад в развитие русской филологии. Автор десяти книг и более трехсот научных статей. Преподавал не только в университетах России, но и в США, Западной Европе, Китае. Сейчас работает в Литературном институте им. А.М. Горького. Ведет большую просветительскую деятельность, является редактором трех научно-образовательных порталов «Постсимволизм», «Трансформации русской классики», «Русская литература: оригинальные исследования».

– Иван Андреевич, прежде всего естественный вопрос о дореволюционной орфографии вашего исследования. Понятно, что она соответствует поистине вечной теме – любви, божественной и человеческой, в русской литературе, и утверждает некоторую консервативность автора. Но, кажется, этим выбор формы текста не исчерпывается...

– Прежде всего уточним термин: это традиционная русская, до-советская орфография. В нашем языке происходили изменения

административного порядка: унификация Петра I, планы, предлагавшиеся Николаю II. Но удобство, доступность для обучения, узус – повседневное словоупотребление, – это лукавые отговорки. Академик Лихачев отмечал, что реформа посягнула на самое святое в алфавите: вѣру, вѣчность... В конце концов, можно было бы говорить и об удобстве, но новое написание было введено именно во время всеобщего погрома русской культуры. Это было подготовкой к следующему шагу – переходу на латиницу. Шаг этот не был сделан из-за того, что захлебнулась мировая революция. Поэтому восстановление прежнего написания – шаг в сторону восстановления русской культуры как таковой, осознания ее особой ценности.

– И все же как быть с доступностью, пониманием, даже, может быть, с привлекательностью текста? Некоторые получают удовольствие от такого рода написания. Но для других это лишняя сложность и преткновение. Вы не боитесь отпугнуть читателя, и без того бегущего от всякого усилия?

– Существует опыт восприятия подобных текстов. Владимир Николаевич Захаров вот уже много лет издает в Петрозаводском университете каноническое собрание сочинений Достоевского – то есть именно на языке Достоевского. Эта работа – обратный перевод с, выражаясь словами Бунина, «советского кривописания» на литературный русский язык. Мой сын Андрей, будучи еще школьником, говорил, что первые несколько минут чтения происходит словно настройка восприятия и чувствуется некоторое неудобство, но зато затем чтение происходит с удовольствием. Читается легче потому, что та орфография более родственна русской душе, имеет другое пространственное измерение. Кстати, Бунин в письмах просил американских издателей «Жизни Арсеньева» сделать исключение для старика, напечатать в традиционной орфографии. Не напечатали. Так что мы не имеем аутентичного текста главного произведения Бунина.

Что же до читателя, то мне незачем за ним гоняться. Мои книги, будучи затеряны по не самым центральным книжным магазинам, выходили – для филологических изданий – довольно приличным тиражом и, тем не менее, все раскуплены. Отпугнуть никого не боюсь.

– Что есть современное литературоведение? Зачем оно, к чему его можно приложить в теперешней жизни, нацеленной, прежде всего, на достижение индивидуально-практических результатов?

– А зачем нужна «бесполезная» область гуманитаристики? Чтобы не потерять человеческий облик. Для достижения практических результатов человечность не нужна. Русское правописание отличается вариативностью, определенной свободой. Розенталь же, неустанно трудясь, произвел на свет такую механистичную «законническую» систему, в которой нет ни единой лазейки для вариативности, необходимой подлинному творчеству. То же касается и гуманитаристики в целом.

Иметь 3-4 возможных «варианта» и запрет выйти за них – угнетает русское сознание, широту которого, кажется, больше ценят иностранцы, чем мы сами. Какой был уровень гуманитарных наук в исторической России? Например, немецкие византологи специально учили русский язык, чтобы читать русских исследователей, лучших в мире. Когда в 1920-30 годы русские ученые были уничтожены или бежали в Европу и США, русская византистика, как школа, оказалась в Германии и Штатах, а у нас в основном пресеклась. Всякая великая страна должна быть полноценной, иметь не только свою, например, фармакологию, но и комплекс гуманитарных наук. А еще это нужно для того, чтобы мы не сделались придатком к механизмам, чтобы подольше не сбывались мечты интернетных трансгуманистов, стремящихся поскорее перегрузить свое сознание в глобальное электронное пространство и тем достичь бессмертия, хоть бы и оставаясь в виде машинных кодов.

– Вы трактуете повесть Пушкина «Станционный смотритель» в ключе притчи о блудном сыне, причем в ее истинном, а не лютеранско-кальвинистском понимании. Об изображениях на стене комнаты, описанных Пушкиным, вы говорите: «Эти «картинки» нельзя толковать как своего рода «подобие» самой притчи. Что означает это постоянное акцентирование немецкого колорита – и в картинках, где отец, «въ колпакъ и шлафрокъ», весьма напоминает почтенного немецкого бюргера, а сын «въ треугольной шляпѣ», что никак не вяжется с евангельскими временами, и в надписях под ними: «...прочель я приличные немецкие стихи?»» Какова бы ни была любовь Минского к Дуне, не представляется ли вам поведение девушки, до и во время побега с офицером, несколько предосудительным? Не на это ли весело намекает Пушкин в сцене с поцелуем, от которого девушка в сущности, подросток, не отказывается?

– Мы говорим о моей интерпретации. Вы хотите, чтобы она была стандартной? Она радикальная. Книга-то мирная, но заголовок ее грозный... Упор сделан на мою собственную работу с текстом. Пушкин не является моралистом, никого не осуждает, а, как и в других «Повестях Белкина», утверждает, что возможно чудо любви. Минский желал только лишь соблазнить красавицу, и социологически, по-видимому, 99 девушек из 100 в такой ситуации затем «погибали», чего опасается и отец Дуни. Но Пушкин доказывает, что и в прозаическом мире возможно чудо. Скажем, чудо любви. Ошибка Минского в том, что он в своем рациональном расчете соблазнения не смог «просчитать», что полюбит Дуню по-настоящему. Ошибка Вырина, отца, в том, что он недооценил чувств Дуни, что фактически воспротивился счастью дочери. Которое она обрела, заплатив за него бегством, разлукой с отцом, но заслужила больше, чем если бы осталась влачить «добродетельное» существование.

– О Мандельштаме вы пишете: «Онъ настаиваетъ не на «эллинизации» языка, а на томъ, что существуетъ нѣкій «внутренній эллинизмъ, адекватный духу русскаго языка»». Далее следует ваш вывод о плоти слова, которое является Богом, и наоборот. Но ведь Запад стоит на том, что

эллинизм принадлежит ему, Западу, а у нас ничего такого не было, отчего мы, по их мнению, дики и недружелюбны. Как поделить эллинизм между Западом и Россией, какое право мы на него имеем?

– Наше «право» – это право «греческой веры», преемство от Византии, от православных греков. Мы отворили окно в Европу, а, скорее, в истинное бессмертие, задолго до Петра, принятием веры. Наше «эллиństwo» – в церковнославянской стихии. Вячеслав Иванов, у которого Мандельштам почерпнул и развил эту мысль, утверждал, что церковнославянский язык – ипостась эллиństwa. Если мы будем загонять язык, как крысу, в углы жестких, упрощенных систем, то утратим и эту преемственность, и сами в этих углах останемся. Километры Южного берега Крыма с греческими поселениями, узкая прибрежная полоска – вот одно из наших «окон». Европейские «партнеры» – некоторые из них – желали загнать нас обратно в скифские степи и леса вятичей, в «Московию». Некоторые считают, что и хорошо, жили же как-то в древности. Но тогда зачем столько усилий наших предков? За державу, Империю, обидно...

А «делить» нам с европейцами особо-то нечего, все уже «поделено». Нам «принадлежит» по тому самому «праву», которое я подчеркнул, благодатная часть эллинизма, им – законническая, юридическая, рационалистическая. Мой «союзник» здесь – Хайдеггер, он осознавал узость «родного» для себя западного рационального подхода...

– В главе «Это было имя прекрасной полячки. Любовь Андрия и героика «Тараса Бульбы» Гоголя» вы говорите: «Вѣдь и полячка, обращаясь въ своей мольбѣ къ «Святой Божьей Матери», принимаетъ Андрия – какъ любимаго – лишь послѣ его вполнѣ «героическаго» монолога, въ котормъ возлюбленная фигурируетъ какъ разъ въ общемъ контекстѣ съ отчизной – и даже какъ отчизна. Причѣмъ «кинулася (...) къ нему на шею» панночка тоже отнюдь не какъ прозаическій персонажъ, добившійся своей прагматической «цѣли» – измѣны Андрия. Напротивъ, подчѣркивается прямо противоположное душевное движеніе». Представляется, что здесь вы немного недоговариваете. В чем же эта необоримая, всепоглощающая сила любви, которая заставляет Андрия перейти на другую сторону расколотого тогда, да и сейчас, славянского мира? Только ли в биологическом инстинкте, в очаровании той очевидной и безупречной красотой, какой наделена дочь польского воеводы?

– Я-то как раз договариваю то, что не говорят гоголеведы. Вот вы – за ахейцев, или за троянцев? Автор «Илиады» воспевает героизм и тех, и других, любит, ставит в пример их благородство и доблесть. Эти события не современны для Гомера, они отдалены от него тем, что называется «эпической дистанцией». Гоголь тоже отдален от событий, которые описывает, и тоже ставит в пример доблесть и ляхов, и казаков. Этически Гоголь на стороне казаков, а эстетически – любит и теми, и другими. В бездействии «пропадает даром козацкая сила...» Кто достойный противник для казаков? Ляхи, «лыцари». Здесь никто не трус, никто не уклоняется от боя.

С этической стороны Андрий – изменник. Но этот же самый Андрий – «несокрушимый козак» даже после того, как остался с полячкой. Как герой эпоса, он избирает собственную сторону сам. И выбирает сторону любви. Фактически, сражается против отца за любовь невесты. Фатум. Героический мир расколот надвое – у Гомера даже боги разделились. Это не биологический инстинкт, это высокий эрос, подобный античному, то, что Мандельштам усмотрел у Гомера. И такой трагический накал ничем, кроме гибели, в мире, расколотом надвое, для Андрия кончиться не может.

– Иван Андреевич, по тону, а порой и по словам, например, о критическом реализме, вашего исследования, видно, что вы считаете советское литературоведение несколько произвольным и неполным. Но не представляется ли вам, что мы обеднели бы, имея только работы авторов русского зарубежья, хоть и несомненно важные? Что заслуга советского периода в сохранении непрерывности исследований как таковых?

– Не стоит представлять, будто я тотально отвергаю все, что было сделано в советскую эпоху. Веселовский был номером один в мировом литературоведении, а позже мирового уровня достиг Бахтин. Как бы я ни относился к формальной школе, это высочайший уровень. Можно вспомнить и менее известные имена – наших провинциальных ученых. Например, Александра Скафтымова, Всеволода Грехнева... Это подвижники. Но беда, как и с реформой орфографии, в том, что эта работа оказалась вмонтированной в направляемый советским государством процесс, базировавшийся на отталкивании от всего, что было связано с «царской» Россией. Многим приходилось идти на невероятные ухищрения, чтобы высказать что-то относительно правдивое. Бахтин горевал в позднейших разговорах: «Что можно сделать под этим несвободным небом?» Они были отрезаны от возможности полноценно высказываться. Высказаться о «главных вопросах». Эмигранты были оторваны от Родины физически, оставшиеся в СССР – от исторической России идеологически, и в обоих случаях насильственно. Когда-то же нужно возвращаться на собственную культурную почву?

С автором книги беседовал Сергей Шулаков